

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОЛЬ

Вопрос о войне неотступно стоит перед литературой - с той минуты, как война началась. Наша литература, в основе своей - действенная, более того, - пророчески действенная, даже в самых безобщественных с виду своих правлениях, остававшаяся общественной, - заметалась, едва началась война.

В первые же ее дни первый, насколько помню, заметался Сологуб и выступил с целым рядом "военных" стихотворений.

Его поэтический гений не сказался в них с той внутренней силой, которой его поэзия так обаятельна, но, кажется, чем слабее художественно были эти его военные стихи, тем трогательнее был порыв писателя, во что бы то ни стало, ценой чуть ли не собственного дарования, отзваться - превратить свое поэтическое пенье в патриотическое. Многие из этих стихотворений были действительно несравненно слабее его очаровательной лирики, теперь уже - для всех понимающих дело поэзии - "классической", знакомой с детства; но мне никогда бы не пришло в голову сомневаться в искренности, в стремительности этого порыва - к стихам о войне, которую поэт должен был в духе своего миропонимания, понять прежде всего как жертву. Так он ее и понял, - перед нами уже в середине прошлого года был целый сборник стихотворений - "Война", стихов о величии народной жертвы. Так приложил Сологуб к войне свой исконный аскетизм. И тотчас же, на первое же стихотворение его явился еще более аскетический ответ З. Гиппиус - о святости молчания в минуту этой народной жертвы.

Барабаны, не бейте слишком громко,
Громки будут отважные дела,
О них отдаленные вспомнят потомки,
В те дни, когда жизнь засияет светла...

Так насторожился в отношении к войне Сологуб, а З. Гиппиус в своем ответе призывала литературу прямо к молчанию: "Поэты, не пойте слишком громко..."

Ей казалось, что около войны начинается литературная суэта, и она потом не раз повторяла это в своих критических заметках, по обыкновению раздраженных и острых: "суэта, суэта!.." Но в докладе, прочитанном ею тогда же в религиозно-философском обществе, она говорила о войне тоже как о жертве, - и разница между сологубовским и ее пониманием, вообще говоря, была та, что Сологуб, откинув сомнения, видел вслед за войной жизнь, засиявшую светло, а З. Гиппиус тревожилась: будет ли? И сомневалась: нужна ли тогда для этого жертва?

О, разумеется, я очень хорошо понимаю, что сливать в одно Сологуба и З. Гиппиус - невозможно; что они с различных, слишком различных концов смотрят и различный свет видят впереди. Но я знаю и то, что у них обоих сказалось душевное смятение, душевная тревога. Один доверчивее, другая недоверчивее тревожится за будущее. И недоверчивый легко раздражается на

доверие более доверчивого. Но оба на последний вопрос о войне, который должен был стать перед ними и стал неотступно: - убийство или жертва? - отвечают: - жертва.

Другие, заметавшиеся в вопросе о войне, колебались между этими двумя, намеченными двумя поэтами мнениями. Первое из них могло переходить из "доверия" в идеализацию и, наконец, в идиллию, второе - в безнадежность и отчаяние. Но Сологуба сдержало бы от идеализации его трагическое сознание; ни у З. Гиппиус, ни у тех, кто пошел по этой линии душевной тревоги, как например, Мережковский, не сказалось ни безнадежности, ни отчаяния: вера, точнее, любовь, у всех одна национальная боль.

Между тем, "беспокойные", кроме спора с Сологубом, стали спорить с Андреевым, который пошел по линии Сологуба, по линии "доверия". И в нем это доверие раздражало "беспокойных" еще более, чем в Сологубе, так как мировоззрение Сологуба прямо подсказывало ту позицию, которую по отношению к войне он принял. Андреев казался неискренним...

Я вовсе не поклонник "военной" публицистики Л. Андреева: для его неуспокоенной души она кажется мне бледной и сухой, я не вижу в ней той писательской страсти, в которой и есть вся литературная личность Андреева. Но и здесь я не предполагаю неискренности, и здесь - смятение... Бессильное? бледное? сухое? Положим, даже и так. И все-таки смятение, и все-таки - боль.

Душевное смятение Сологуба выразилось в порыве, как можно скорее, не дожидаясь, пока война художественно устоится в душе, на нее отозваться, высказать, что она жертва для будущего. Смятение З. Гиппиус и Мережковского - в тревоге общественной совести, недоверчивой, пугающейся возможности какой бы то ни было идеализации. Вечный бунт Л. Андреева вдруг смутился перед надеждами на то будущее, для которого и приносятся сейчас жертвы за жертвами - смутился перед надеждами и доверчиво им отдался.

Литература заметалась. Из других подлинных поэтов - Блок остался, при всем своем национализме, как всегда, со старой грустью, на том же берегу, куда издалека долетает "отравленный пар".

"...С галицийских кровавых полей".

Остался и Ремизов с той же трогательной мечтательностью, о "народности", которой ему нечего было и заявлять, так она - народна и в то же время уединенна, интимна. Это уже органическая, ничем непоколебимая, младенческая в своем целомудрии - "доверчивость". Здесь о неискренности или отсутствии "боли" никто бы и заикнуться не решился.

Сказались ли эта боль в других, в тех, чьи литературные голоса раздались не только доверчиво, но уверенно: у одних даже с криком, у других - без крика, - напротив, но в такой отвлеченной "уверенности", в которой всякий туман покажется "градом невидимым". Это современные славянофилы, группирующиеся вокруг "Русской Мысли", безупречно просвещенные и безупречно отвлеченные, почти всегда профессоры, по

большой части, знаменитые или поэты, по большей части, маститые. Откровенным криком в ряду их голосов невоздержанное сопоставление Канта с Круптом. Все остальное было и обдуманно, и глубокомысленно, и положительно неопровергимо, если бы только оставаться в старых славянофильских туманах, давно уже не освещаемых той розовой зарей, которой они когда-то и светились, и горели.

Если от заявлений, песен и споров Сологуба, Мережковского, З. Гиппиус, Андреева веяло тревогой, а от непотревоженной поэзии Блока и мечтательной народности Ремизова - подлинной грустью, то пышные националистические построения, подновлявшие по поводу дарданельской военной страды славянофильскую романтику...

О, я и здесь нисколько не сомневаюсь в искренности - ни Струве, ни Вяч. Иванова, ни Бердяева, но их националистическая пышность кажется мне такой необеспокоенной, не тревожной, - ни даже доверчивой! Потому, что и для патриотической доверчивости нужна национальная боль, и патриотическая доверчивость должна заключать в себе какое-то предшествовавшее ей страдание за нацию. И вот этой-то боли у них и не сказалось... Не докажешь этого никакими доводами, - но нет ее, не ощущается она в идеологической пышности нового славянофильства, как ощущалась она все-таки в старом. Философская отвлеченность осталась та же, а боль исчезла! Ведь на самом деле если бы она была, разве могло бы случиться, что голоса современного славянофильства, достаточные убедительные литературно, и даже нередко - художественные по своей убедительности, остались бы, в конце концов, так жизненно невлияльны? И не в искренность их не верится. Какое же право у нас в ней сомневаться? Но не верится в выстраданность. До того стоит вне живого народного бытия и его будущего, до того не национален весь этот академический национализм. Искренни ли? Да, чем искреннее, тем хуже, потому что сейчас России, стоящей перед национальной грозой, перед возможностью великого горя (да не будет, не будет!) - нужнее всего, нужнее, чем когда-нибудь не идеологические туманы, старые, новые и подновленные; не отвлеченности (не хотелось бы попрекать немцами, но, в сущности, ужасно немецкие, оттуда по большей части вывезенные!), а правда общенародная. Общенародная и общечеловеческая вместе, правда Божья, отличие которой от суety человеческой заключается в тревоге совести и в живой любви к России народной.

В смутном, пусть часто и бессильном, но ищущем состоянии она оказывается там, где расстаются с официальным политиканством угасшего славянофильства, где смотрят в глаза народной России, где тревожатся, доверчиво или недоверчиво, за будущность народной души, - где есть национальная боль.

Пусть я ошибаюсь в оценках отдельных писателей, говоря об их ощущении этой души, но я знаю твердо, что новый русский национализм, грядущий теперь к нам, рождается только из этой боли.